

О жизни в оккупации, работе медсестрой у немцев и генерале Власове

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1681>

10 марта 2014

Собеседник

Левитская Надежда Григорьевна

Ведущий

Формозов Николай Александрович

Дата записи

Беседа записана 10 марта 2014 и опубликована 19 мая 2015.

Введение

В первой беседе Надежда Григорьевна Левитская вспоминает о начале войны и голоде в Детском Селе, о своей семье и отце, известном ученом-генетике, члене-корреспонденте АН СССР Григории Андреевиче Левитском, соратнике Николая Ивановича Вавилова. Но основная и самая яркая часть беседы посвящена тому, как семья (уже без отца, которого репрессировали), оказавшись на оккупированной территории, спасалась от голода работой на немцев, как жили бывшие колхозники в оккупации и как немецкие врачи и военные относились к местным жителям. Завершает беседу рассказ о том, как Надежда Левитская сразу после капитуляции Германии оказалась в Риге, где решила получать высшее образование. Рассказ Надежды Григорьевны иллюстрируют фотографии из семейного альбома, которые переносят нас в Детское Село 1930—1940-х.

Николай Александрович Формозов: Я хотел, чтобы вы начали с рассказа о семье, о вашем отце, который был очень важной и замечательной фигурой в истории русской науки.

Надежда Григорьевна Левитская: Вы знаете, что в 1978 году, к столетию со дня его рождения, вышло два тома его сочинений.

Н. Ф.: Нет, я их не знаю, к сожалению.

Н. Л.: Один том назывался «Цитология», а другой — «Цитогенетика». Они у меня есть, если нужно.

Н. Ф.: Да, может быть, потом посмотрим. Я сам делаю хромосомные препараты (*смеясь*), это для меня близкое дело.



«С середины 1930-х лаборатория цитологии была переведена в это здание — бывший дворец великого князя Бориса Владимировича на Колоническом пруду. На крыльце этого дома мы в последний раз видели папу, когда его вывели после обыска в кабинете».

Н. Л.: И сейчас пытаются что-то сделать, в последнее время. Этот дворец был подарен английской королевской фамилией, и поэтому он был построен как английский коттедж. В этом коттедже был кабинет: сначала кабинет великого князя, потом Николая Ивановича...

Н. Ф.: Вавилова?

Н. Л.: Вавилова, да, а потом папин кабинет там был. Было последнее место на крыльце этого дома, где я видела своего отца, когда его, после обыска, увезли туда, где была лаборатория. Там забрали лежавшую у него на столе мамину кандидатскую — страшно нужно им было для следствия, тоже какая-то хромосомная теория. Я не знаю, о чем она была.



Нижнее левое окно — кабинет Н.И. Вавилова, позже — Г.А. Левитского.

Н. Ф.: А ваша мама работала с папой?

Н. Л.: Да, она работала там, но не служила, не числилась в штате ни в каком.

Н. Ф.: То есть она просто занималась наукой?

Н. Л.: Да, занималась наукой...

Н. Ф.: Бесплатно?

Н. Л.: ...благо был руководитель. Семейство у нас было такое, что папа говорил: «Работать тебе нельзя, тебя сразу посадят».

Н. Ф.: А что он имел в виду?



Наталья Евгеньевна Кузьмина-Левитская и Григорий Александрович Левитский.

Н. Л.: Несдержанность на язык. (*Смеется.*) Мама в 37-м году, когда была перепись, записала себя «верующей, православной», за нас папа все диктовал, за детей, а мама записала себя так. В общем, она как ваш папа, она «их» так же любила. Первый раз его [отца] арестовали в 33-м году, это все написано, опубликовано.

Н. Ф.: Да-да, это известно. Расскажите то, что помните из детства, где вы жили, где провели детство.

Н. Л.: В Детском Селе. Родилась я в Киеве в 25-м, а в 27-м мы уже переехали, по приглашению Вавилова... Организовался Институт прикладной ботаники, генетики и селекции — по-моему, так он назывался (*Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур (ВИПБиНК). — Ред.*) И Николай Иванович пригласил папу руководить, сначала было задумано Лабораторией цитологии и анатомии, потом анатомия отпала. Там был Александров, а у папы осталась только цитология. Сначала это помещалось на Павловском шоссе, оно тогда называлось Слуцкое шоссе, 13, была такая дача полковника Куриса — так она была извозчикам известна, и когда надо было от вокзала доехать до дома, так и говорили: «Дача Куриса».

” Это был уже конец НЭПа, но еще какие-то остатки были, еще рынок какой-то существовал, каждую субботу к нам приезжала чухонка, привозила творог и сметану, на Рождество привозила в большом мешке елку. Привозила на своей лошади, на своих санях...



Здание лаборатории ВИРа в Детском Селе (Пушкин), Павловское шоссе, 13. Бывшая дача полковника Куриса.

Н. Ф.: Это были такие финны окрестные, которые жили вокруг...

Н. Л.: Те, которых потом стали называть эстонцами. А под Ленинградом они тогда назывались чухонцами. И никто не обижался, и они не обижались, так все их называли, и все знали. Я даже не знаю, как ее зовут, потому что говорили: «Чухонка приедет».

Н. Ф.: Понятно. А по-русски они говорили хорошо?

Н. Л.: Они как эстонцы говорят, с какой-то, знаете...

Н. Ф.: С акцентом?

Н. Л.: С очень специфическим акцентом. Их всегда узнать можно.

Н. Ф.: Да-да.

Н. Л.: Потом это все постепенно кончилось, и в середине 1930-х годов лабораторию перевели вот в этот дворец, так называемую «генетику». Вокруг дворца был большой участок, поля специальные опытные, и прямо здесь же, перед окнами дворца, стояли зарешеченные участки, где что-то сажалось, что-то высевалось, то, с чем сейчас хотят покончить. «Мы вам дадим другие поля, на которых бог знает что сеялось, бог знает что сажалось, а эти пустим под дачи, более хорошее место.



Лаборатория цитологии до 1932 г. Сидят во втором ряду: Г.А. Левитский, Н.П. Авдулов (в очках); за ним стоит Н.Н. Матвеева, рядом с ней А.А. Прокофьева.

Я давно не ездю в Питер. Я каждый год ездила в Питер, у меня там могилы, и вот заезжаю в Детское Село, и всегда иду через эту «Генетику», смотрю, что там. Разорение полнейшее. Наверху я там никогда не была, а внизу был роскошный холл, и справа наверх шла деревянная лестница круглая, а по верху шла деревянная же галерея. И когда это помещение отдали ВИРу, и там делали ремонт, Николай Иванович строжайшим образом запретил: «Ни одного гвоздя никуда не вбивать». И обязательный портрет Владимира Ильича был просто поставлен на каминную доску. Камин тогда, конечно, уже не функционировал. А немцы заставили камин функционировать таким специфическим военным образом: рядом поставили буржуйку, засунули туда трубу, на буржуйке пекли блины, сушили свои чулки и прочее, ободрали всюду где что можно. В общем...

Арест отца. Убийство Кирова

Н. Ф.: А вы там оставались во время оккупации, да?

Н. Л.: Да, потому что папу арестовали, а ВИРовцы от нас, конечно, сразу отшатнулись, и даже думать об этом нельзя было, чтобы они нас взяли с собой в эвакуацию. А когда директриса школы, в которой я училась, захотела нас вывезти, мы ей все рассказали, почему и как — было уже поздно. Она хотела нас взять, но было уже поздно.

Н. Ф.: Но они выехали, школа выехала, а вы остались, она не сумела вас взять просто?

Н. Л.: Да-да. Ведь это же так быстро было, 17 сентября Киев взяли, и Детское Село взяли. Уже теперь я знаю, что блокада Ленинграда началась с 8 сентября. Но к нам они пришли 17 сентября. В 33-м году папу посадили, тоже очень было это все обычно. Позже, когда Кирова убили, стали выселять из Питера всех, кого только можно.



Надя и Ваня Левитские на ступеньках разрушенной веранды дома в Детском Селе. 1937 год.

” Я помню сейчас, на улице стояла мебель, потому что люди все бросали, и никто не покупал. Были такие деревянные мягкие диваны с подушками — прямо стояли на улице.

Н. Ф.: Пытались продать таким образом? Что кто-то купит?..

Н. Л.: А может, квартиру освобождать заставляли, кто их знает. Стоит на улице мебель. Это годом позже было. Мне было тогда семь лет, брату пять, мама нигде не работала и без конца ездила по всяким Акуловым, Пешковым и еще куда-то. И когда уезжала в Москву, она Ваню забирала с собой, а меня оставляла на соседей. И ничего. Теперь в семнадцать лет бегут домой «ребенку» яичницу жарить, а то он бедненький голодненький останется. А тут я не помню, чтобы я где-то ходила по домам.

Н. Ф.: То есть вы сами себе готовили?

Н. Л.: Причем газа не было, был примус или керосинка.

Н. Ф.: Да, это сложно.

Н. Л.: И так смешно оказалось потом уже: дом, где я жила... С 63-го до 2011 года, сколько я там прожила? Почти пятьдесят лет. На месте этого дома стоял другой дом, тоже многоэтажный, и там была то ли дворницкая, то ли швейцарская под лестницей, маленькая комнатка, и там жила мамина тетка, у которой мама останавливалась.

Н. Ф.: Это в каком же году?

Н. Л.: В 33-м году это было. И я искала этот дом... Почему? Тогда ведь было там несколько маленьких домишек, их все снесли и построили этот огромный дом 37/43, где мне потом пришлось жить.

Н. Ф.: То есть это было на Пироговке как раз?

Н. Л.: На Пироговке. Я не помню, была она уже Пироговкой, или была она Царицынская. Мама останавливалась даже не здесь, а в самом Новодевичьем монастыре, потому что там жила мать Николая Павловича Авдулова, который тоже сидел.

Н. Ф.: Я знал сына Николая Павловича, я знаю, что они дружили.

Н. Л.: Андрея?

Н. Ф.: Да.

Н. Л.: Ну вот. А потом, много-много позже, уже после смерти матери Екатерины Мечиславовны, этот Андрей путем каких-то обменов, комбинаций, как тогда все делали, переехал в корпус «А» этого дома, где я жила. Мы с ним время от времени встречались на Усачевском рынке.

Н. Ф.: Понятно.

Н. Л.: Но я с ним не поддерживала отношения, очень он был... Пока была жива мать его, Екатерина Мечиславовна, я в эту семью ездила, а потом, с ним — нет, он был очень карьерный молодой человек. А потом уже и весьма немолодой. Он был из тех мальчиков, которые бегали на Кремль (*очевидно, имеется в виду Мавзолей. — Ред.*), подносили цветы всем там стоящим этим самым членам... Он всегда очень хорошо учился, он такой был. Он кончил, по-видимому, Историко-филологический институт, во всяком случае, он специализировался по одному из языков Индии и думал работать в Индии, а папенька сидит, и маменька сидит, — его окоротили. Он молодец, очень быстро понял, что ему никуда не светит, и получил техническое образование, кончил второй институт и там дослужился до степеней весьма высоких. В партию вступил, и жена его в партии была.

Н. Ф.: Да-да. А его отец тоже генетик?

Н. Л.: Он у папы в лаборатории работал.

Н. Ф.: Ах вот оно что!

Н. Л.: Папа считал его очень талантливым. У него было два таких, о которых он с восхищением говорил: это Добржанский*, они в Киеве жили в одной комнате.

Н. Ф.: Потрясающе. Но вы Добржанского не застали, конечно?

Н. Л.: Нет-нет. Но когда мы были в оккупации, мама заставила нас наизусть выучить два адреса, адрес в Киеве, ее самых давних друзей и друзей ее родителей, и адрес Добржанского.



Феодосий Григорьевич Добржанский

* Феодосий Григорьевич Добржанский (1900–1975) – генетик-эволюционист.

Н. Ф.: То есть американский адрес Добржанского надо было выучить наизусть?

Н. Л.: Да. Мы были в оккупации, и мы не знали, где останемся и что будет после войны. И вот эти два адреса мама заставила нас выучить наизусть.

Н. Ф.: И вы помните адрес Добржанского?

Н. Л.: Америка, Нью-Йорк, Колумбийский университет.

Н. Ф.: Простой адрес.

Н. Л.: Да. И вот сейчас, слава Богу, нашла телефон в Киеве, теперь очень важно туда позвонить. Кто бы знал...

Н. Ф.: Как я понимаю, Андрей Авдулов жил когда-то тоже в Питере, до того — в Ленинграде.

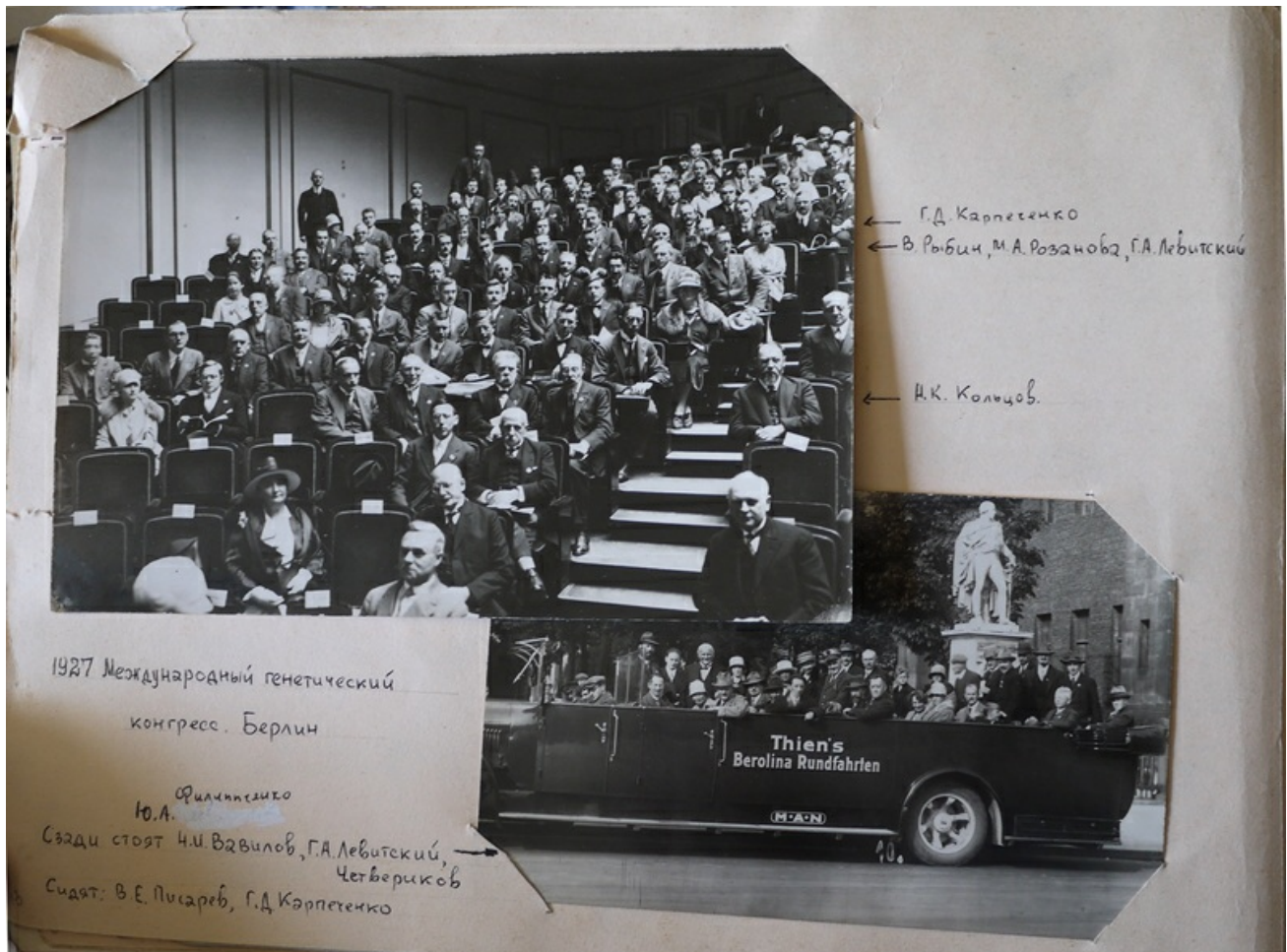
Н. Л.: Он родился в Ленинграде. Мама была его крестной.

Н. Ф.: Понятно.

Н. Л.: А Николай Павлович был крестным моего брата, так что кумовья были.

Н. Ф.: Понятно-понятно.

Н. Л.: Когда первый раз родителей забрали, бабушка Нина Львовна увезла его сюда, в Новодевичий монастырь. Там были маленькие хибары такие...



Международный генетический конгресс. Берлин, 1927.

Н. Ф.: И ваша мама останавливалась у них, когда приезжала хлопотать?

Н. Л.: Да, когда к Пешковой ходила, Акулов был, по-моему, прокурором тогда, не знаю, не помню. Вот эти две фамилии я помню, они назывались. Вот такие странные пересечения.

Н. Ф.: Понятно. А как вы жили тогда, наверное, кто-то помогал из родственников? Все-таки чтобы ездить туда-сюда, чтобы вас прокормить, как-то нужно же было...

Н. Л.: Я вам так скажу. Я не могу точно сказать, меня в эти дела не посвящали. Но я знаю, что долго, еще во время войны, у нас были николаевские золотые, которые родители покупали в 20-е годы, потому что какой-то из съездов должен был состояться на Гавайях, и тогда еще НЭП был, они собирались туда вдвоем, и вот скупали николаевские золотые. И потом они...

Н. Ф.: Чтоб там было чем расплачиваться? Они собирались расплачиваться золотыми на Гавайях? (Усмехаясь.)

Н. Л.: Ну, поменять их там, наверное. У нас был большой шкаф, где продукты стояли, и там, когда открываешь дверцу, а наверху, как любая старая мебель, там наверху была большая рейка, и к этой рейке

был прибит маленький мешочек кожаный с этими золотыми. Три обыска было, не нашли. (*Смеясь.*)

Н. Ф.: Здорово. (*Смеясь.*)

Н. Л.: И потом эти золотые, когда уже уходили пешком из Питера, от Вырицы до Дедовичей у нас вещи ехали на санях.

Оккупация Детского села

Н. Ф.: Это когда же было?

Н. Л.: В 41-м году. Нет, это был январь 42-го. Мы ушли из Детского Села 30 декабря 41-го, у нас Новый год был где-то там, в дороге.

Н. Ф.: А почему? Потому что там было очень голодно и передовая?

Н. Л.: Нет, передовой мы не чувствовали, немцы выходили на передовую как на работу: к такому-то часу он идет на передовую, к такому-то возвращается, у него здесь полный комфорт. До тех пор пока они не спалили все деревянные дома. Совершенно дикие люди были, не умели топить наши печки, не знали, что такое вьюшки, топили до бесконечности, до того, что раскалялась эта самая...

Н. Ф.: Ну да, все лопалось, конечно...



Надя и Ваня Левитские в детской. Ок. 1928 г.

Н. Л.: А они спать заваливались, все это вываливалось наружу. Потом жили уже только в каменных домах. А деревянные-то были самые уютные, самые ухоженные. Сначала-то они по деревянным...

Н. Ф.: Но ВИРовский дом они не спалили с этой своей буржуйкой?

Н. Л.: Нет. Он был, во-первых, каменный. Во всяком случае, стоит по сию пору. В каком виде вы его видели — это уже не после немцев, это уже наши сотворили. А вот дом, где мы жили, сгорел, от него ничего не осталось. Но сохранился большой дом, где были лаборатории. Сначала я даже, когда приезжала туда, заходила, входила наверх: там квартиры, просто люди живут. Как они там живут, не знаю, потому что комнаты были огромные, залы. Теперь они все позакрывали, как полагается, так что уж туда и не войдешь и не посмотришь. Но, когда открываешь дверь наружу, там еще остатки плитки дореволюционной на полу, не знаю, сейчас уже, может быть, новую положили, та столько держаться не будет. *(Усмехаясь.)*

Н. Ф.: Да, и вы решили оттуда уходить.

Н. Л.: Немцы пришли 17 сентября, мы протерпели до 30 декабря. Съели все, что у нас было, все, что накопили. Как только люди немножечко пришли в себя после того, как немцы пришли...

” Магазинов нет, ни за наши деньги, ни за оккупационные деньги. Нигде ничем не торгуют. Никакого рынка, ни блошиного, никакого, ничего.

Н. Ф.: Немцы запрещали торговать? Почему? Боялись?

Н. Л.: Нет. Это уже потом, когда ездила в Германию, в Австрию, читала там вот всякие книжки про немецкую политику здесь, у нас, особенно под Питером... Гитлер ненавидел русских до дрожи и считал, что ему совершенно ни к чему брать Ленинград и кормить два миллиона голодных ртов, а поэтому пускай подыхают сами. И здесь точно так же. Уходить нельзя, это запрещено, а здесь никак. Мы несколько раз собирали картошку. Все ринулись в окрестные огороды, потому что город маленький, весь окружен сельхозугодьями. Все кинулись копать картошку, ну и мы тоже. Мы по полю рассыпались, много народу, и вдруг раз — и окружили немцы. Ну, думаем, все, «капут», сейчас загребут куда-нибудь в лагерь. А они именно так делали: кого угодно где угодно хватали, и потом ищи-свищи, поэтому мы ходили всегда вместе. Один раз Иван не пошел, так его-таки загребли: «Jude».

Н. Ф.: Сказали, что «Jude», да?

Н. Л.: Да, ему было 14 лет, высокий, здоровый. Но, слава Богу... А мы недалеко были. Прибегает наша дворничиха бывшая: «Наталья Евгеньевна, Ваню немцы забрали!». Мама выскакивает: стоят два ведра — а он за водой пошел, — а Ивана нету. Мама свободно говорила по-французски, и она очень хорошо знала французский, переводила английские книги, а немецкий она знала из гимназии, терпеть его не могла. Ну вот бывают какие-то преференции. Но тут заговорила: как до петли доходит, «робёнка забрали». Она притащила документы, всегда документы были наготове, она притащила их, показала им, что он 1927 года, ему четырнадцать лет, а они были законопослушные: брать с шестнадцати.

Н. Ф.: Нет, но они сказали, что «еврей», «Jude», да?

Н. Л.: А там все прописано было. А как «Jude» его все-таки забрали, тоже без нас почему-то. Говорит: «Нет, не „Jude“, христианин, крест показывает. Это они не считают, им на это наплевать. Ну а потом показал самое главное — и отпустили.

Н. Ф.: А они проверяли?

Н. Л.: Да. *(Смеется.)*

Н. Ф.: Довольно страшно.



В столовой дома Левитских.

Н. Л.: Вот такая жизнь была. Как-то сидим, едим, а у нас так вот расположены окна, дом-то стоял глубоко-глубоко во дворе, и из окна видна была дорожка, каждый, кто идет через ворота, виден. Мы сидим, едим, а там идут несколько немцев, и мама так тоскливо говорит: «Ну, кого прятать, мальчишку, девчонку, или еду, или собаку?..» А у нас собака еще была, и кормили.

Н. Ф.: Это отца собака?

Н. Л.: Нет, наша, маленькая, спаниель, хороший, породистый, такая душечка была. Или вещи теплые. Первый же, кто пришел, — у нас на стене висел большой бинокль, — бинокль не спросясь забрал, и мы тоже не спрашивали почему, забрали и все. Это мы узнали тогда еще.

Н. Ф.: Вот они пришли к вам, и что же они забрали-то тогда?

Н. Л.: Я не помню. Это не первый и не последний раз. Но известно было, что если заговариваешь с ними по-немецки, сразу меняется отношение, уже смотрят на тебя не как на скот бессловесный, как обычно они на нас смотрели, а все-таки видят в тебе человека. «Смотри-ка, она говорит по-немецки! А где она училась? Ты немка?» — «Нет, не немка». Ни разу не сказала, что немка.

Так вот, мы тогда сначала копали картошку, потом морковку, потом капусту, еще что-то, — все, что жевать и варить можно. Тогда чем кончилось — нас окружили, забрали, повели куда-то и выбрали нас (раз

говорит по-немецки) и еще несколько человек, — просто местным солдатам нужно было, чтобкто-то чистил им картошку. Да ради Бога! Начистили им огромный котел картошки, это вначале было, потому что тогда они нам щедро отсыпали хороший мешок крупы, такой или сякой, или еще какой-то. Договорились, что завтра опять придем. И так мы у них подкормились, набрали того-другого. А потом это кончилось, и надо сказать, в декабре уже, в конце, они подголаживали, у них не было еды: не поспевало снабжение за продвижением фронта. И тогда... Там была у нас во дворе, рядом с нашим флигельком, кирпичная конюшня, хорошая такая. А снесли ее сейчас, ничего, даже следа не осталось. И там они держали своих лошадей, бельгийских битюгов, огромных таких.

” Они одного битюга прикончили: «Все на ивана спишем». Они его разделали здесь же, на улице, и оставили там копыта с большой голяшкой, бросили. До этого они еще не дошли — до этого мы дошли. И когда было темно, уже комендантский час, выходить нельзя, Иван прополз туда, украл эти огромные копытища. Мы из них столько всякого сала натопили.

Н. Ф.: Жирный был, откормленный конь бельгийский. *(Усмехаясь.)*

Н. Л.: Нет, он сам по себе огромный, так что... Вот так и жили. А потом попробовали, как другие: пошли на немецкую кухню за очистками. Посоветовались после этого: нет, на этом мы не выживем, все-таки два подростка. Надо куда-то бежать, надо уходить. А у нас три библиотеки, мы жили на нижнем этаже, а наверху жил парторг Сизов. Может быть, вы встречали эту фамилию, он благополучно пережил войну и продолжал пакостить дальше.

Н. Ф.: Он остался тоже в оккупации или просто оставил квартиру там?

Н. Л.: Нет-нет-нет, что вы! Все бросили... Драпали как следует. И мы перебрались на верхний этаж, потому что наши комнаты были огромные, у нас было две комнаты по тридцать метров, хорошие комнаты, и кабинет был, вполвину, наверное — метров шестнадцать. А наверху были маленькие комнаты и низенькие потолки — и мы перебрались туда. Там была одна комната побольше, где мы втроем жили, а другая — маленькая, и мы туда затолкали все три наши библиотеки. Была наша библиотека домашняя с очень хорошими книгами, потом была папина научная библиотека, которую мы перетащили из ВИРовского кабинета. Все перетащили, даже папки с оттисками. И потом, когда деда посадили — дед у нас в Киеве жил, мамин отец...

Н. Ф.: Вы, кстати, не сказали, как мамина девичья фамилия?

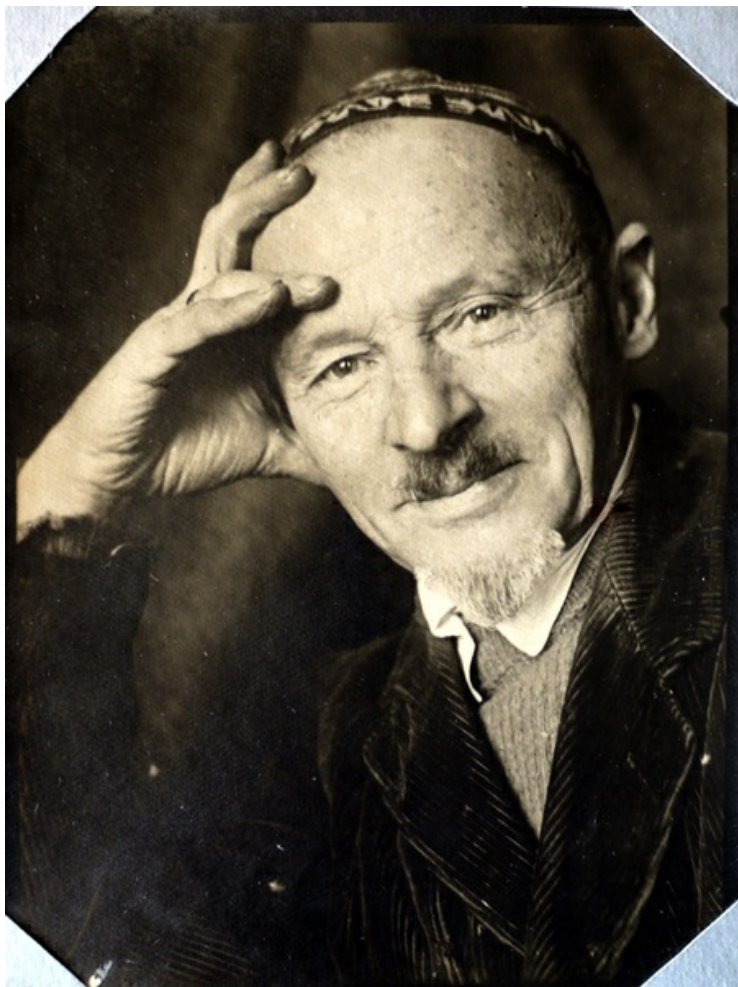
Н. Л.: Кузьмина. Она так и была Кузьмина. Потому что, когда они регистрировали брак, было запрещено супругам работать в одном учреждении.

Н. Ф.: Понятно.

Н. Л.: Она осталась Кузьминой, и она у нас у всех была Кузьмина, у немцев только Левитская. Там такой вольности не допускается, чтобы замужняя женщина была под своей девичьей фамилией.

Н. Ф.: А деда арестовали в...

Н. Л.: В 38-м. Его арестовали, потом выслали — не в лагерь, а в ссылку, в Казахстан, в Казолинск...



Е.М. Кузьмин — участник русско-японской войны и I мировой войны, которую окончил в чине полковника. Художник, искусствовед, «известный киевский литератор и любитель искусств» (Паустовский. Собр. соч. Т.3. 1957. С. 237.), активный деятель Петербургского религиозно-философского общества.

Н. Ф.: Есть такой, да.

Н. Л.: ...где он с голоду помер. У него пошли фурункулы. Говорили: «Нет, что вы, что вы Евгений Михайлович не голодал, ему помогали». Фурункулы просто так не идут по телу. Так же, как и папа, тоже у него был карбункул, то есть фурункул со многими окончаниями...

И мы, значит, запаковали туда все эти книги. Потом сгорело все. Между прочим, Эфроимсон одним из первых... знаете фамилию, да?

Н. Ф.: Да-да.

Н. Л.: Он одним из первых попал в Детское Село. Он там все знал, потому что работал там. И он говорил, что во дворе нашего дома сплошь летали листки книжные. То есть дом горел...

Н. Ф.: Он сгорел уже при наступлении наших?

Н. Л.: Да-да-да. Вообще и бомбили наши, они с самого начала ничего не жалели.

Бегство из Детского Села


Н. Ф.: И вы решили уходить...

Н. Л.: У нас только одни детские саночки были. И тогда Иван со всем своим искусством из двух пар лыж соорудил еще двое, но они у нас благополучно развалились очень скоро. В эти трое саней мы что-то уложили для себя, для памяти, для обмена. И в яркий солнечный день — только это же зима 41–42-го, самая страшная зима — пошли. Пошли мы на Павловск, идти можно было только по железнодорожной линии, которая не работала.

Н. Ф.: Вы сказали, что немцы не позволяли уходить...

Н. Л.: Тут мы в тыл шли. Там, где была граница, так сказать, стояли караулы, и там они не пускали. И это все знали. А ночью они снимали караулы — комендантский час. И все шли. Но стреляли без предупреждения. И когда мы уходили, в одном месте нам пришлось обходить лежащий труп. Он лежал, раскинув руки, так что его хорошо надо было обходить. Значит, кому-то не повезло.

И шли мы, конечно, очень медленно. Десять километров за день. День коротенький, только в светлое время. И все было более или менее организовано. Приходишь, все заранее знают, какая будет деревня. Между деревнями идешь, и тянется, тянется народ, совсем не то, что мы одни идем: все идут.

 Кто уходит совсем, кто груженный, вот я помню, везут какую-то старуху. Тоже самодельные сани, на которых вывозят ее. Дети маленькие, сами не могут идти. И идешь так...

Приходишь вечером в деревню, и там уже староста, или десятник, или еще кто-то распределяет, по каким домам идти, и люди пускают, потому что...

Н. Ф.: Что ж, пускают, конечно. Но получается так, что десятники, старосты, которые были поставлены, приказ был не пускать никуда, — а те, наоборот, помогали?

Н. Л.: А там можешь двигаться как хочешь, тем более что ты двигаешься не по большому шоссе, где немцы стоят, а по железной дороге, по которой поезда не ходят. На полу спишь, там чего-нибудь подстелят, а то и на своем пальто. И как-то не запомнился никто. В одной станции, до сих пор помню, станция Батецкая, никого не пустили погреться. Сидят, смотрят в окно, не пускают.

Н. Ф.: То есть там скопилось довольно много людей к вечеру?

Н. Л.: Нет-нет, не к вечеру. Через какую-то деревню проходишь днем...

Н. Ф.: Морозы страшные.

Н. Л.: Просишь: «Пусти погреться!» Одна-единственная остановка... Помню, где-то когда-то поминают: «А, Батецкая, да, „хорошие“ там люди». *(Усмехаясь.)* Вот почему-то очень хорошо запомнилась Оредеж, теперь это город, по-моему, туда поезд ходит. Там хорошо приняли, уж воды-то всегда дадут, может, еще чего-нибудь.

И так мы дошлепали до Вырицы. В Вырице у нас все развалилось, все наши сооруженные Иваном транспортные средства. Слава Богу, попался нам какой-то дядька, который пригласил нас к себе переночевать, а потом оказалось, что у него есть лошадь, сани, и что он сам едет куда-то в глубинку, то ли менять, то ли покупать что, в общем, у него какое-то свое дело было. И мама с ним договорилась за остальные золотые, он погрузил наши вещи: наши вещи ехали, а мы уже шли пешком. Причем мы иногда уходили далеко-далеко вперед, иногда отставали сколько-то, свернуть он никуда не мог, справа-слева глубокий снег, и никуда ты не денешься. И все по этой железной дороге.

Н. Ф.: И все по этой железной дороге?

Н. Л.: Вот я не помню, когда мы свернули с железной дороги. Просто не помню.

Н. Ф.: Вырица уже далеко была?

Н. Л.: Дальше Вырицы там Поселок... Не помню просто. Уже тогда он руководил, куда ехать и как идти. Что-то у нас еще с собой было, из того, что взяли. А чего-то не было. Ну, надо где-то чего-то поменять, мама пойдет, меняет.

” Я помню, папина каракулевая шапочка, знаете, такие высокие шапки были профессорские, за полтора килограмма ржаной муки сплыла. Очень хорошо: наварили из этой муки затируху.

Иван ел эту затируху и говорил: «Вот если каждый день будет такая затируха, вот жизнь будет!» (*Смеется.*) А потом большая станция Дно, и там уже не просто немцы, а жандармерия ходит. Жандармерия гребет всех и посылает в лагерь. Этого совсем не хочется. И мы пошли вокруг этой станции.

Да, я еще хочу такие несколько эпизодов рассказать. Это уже была не железная, а обычная дорога. Мы проходили через деревню, и совершенно неожиданно немцы. Что делать? Проходим, а они на нас и не смотрят. А это было как раз послеобеденное время, я не помню как, завязался разговор, что ли, во всяком случае, там моют котлы, и пригласили нас. Чем вылить сейчас недоеденное, хотите?

Н. Ф.: Обьедки, да. Помои.

Н. Л.: «Хотим». И налили нам этой немецкой еды, а у них, знаете, такой суп, в котором ложка стоит. У них нет этого «щи и каша», у них все в одно, мяса там наворочено, всего.

Н. Ф.: То есть эти немцы неплохо жили, по сравнению с теми, кто был в Детском Селе?

Н. Л.: Ну да, тут легче было им, по-видимому. И потом мы уже стали нацеливаться, узнаем, где немцы, и так, чтобы к обеденному времени туда к ним попасть. И несколько раз мы так хорошо-хорошо пообедали.

Я не знаю, почему вокруг Дна обошли, ну и следующая у нас была остановка Дедовичи, уже на действующей железной дороге. Не знаю, чего так, но я оторвалась от своих, и с собакой прошла вперед, а потом стала ждать, а их нету, и нету, и нету. Темно становится, а их нету, я одна. Тут какая-то деревня, и меня так хорошо молодая семья, какие-то молодые люди, приняли, меня и собаку, на печку пустили. Я у них переночевала, выхожу — и нашла своих. Да, а до этого места как раз вез нас этот наш возчик. Уже в пути, не помню где, мы обнаружили, что когда мы у них жили эти два или три дня...

Н. Ф.: У этих молодых людей?

Н. Л.: Нет, у этого мужика, извозчика, он хорошо подчистил наши чемоданы, очень много там чего отсутствовало. Так что расставались мы с ним не по-доброму, не по-хорошему. И обувь разваливается, и ехать не на чем. Выгрузил он нас в Дедовичах около комендатуры: куда хошь, туда и иди, что хошь, то и делай. А тут у нас какой-то, видно, любитель, знаток, спер нашего пса, которого мы так любили.

Н. Ф.: Из немцев?

Н. Л.: Да, конечно. Потому что, говорю, пес был породистый, у него на лице была видна порода. (*Смеется.*)

Работа в комендатуре Пожеревиц

Н. Ф.: А как же вы с ним путешествовали по деревням-то, это же очень сложно обычно. Не пускают... И в этот мороз...

Н. Л.: Не пускают. А ночью он смотрит — и под нашу покрывку. И чувствует, что надо вести себя тихо-тихо.

(*Смеется.*) Ну, тут немцы приняли в нас участие: «Да найдем собаку, найдем!» Они собачники. В общем, разговор сначала о собаке. А потом о том, куда нас девать. А у них здесь комендатуры нету, железнодорожная какая-то служба, и все. А комендатура в пятнадцати километрах, в селе Пожеревицы. И они нас на лошади, на санях, со всеми удобствами усадили и довели. Пришли мы туда, а дальше — вот бывает так, что Бог помогает. Комната, где принимают русское население, перегородка, чтобы не валились сразу на стол, и справа круглая печка. Не знаю, застали вы такие кирпичные печки, обтянутые железом. И все к этой горячей печке. И начинается разговор, деревня или село стоит на большой дороге, по этой дороге нескончаемый поток беженцев, все говорят: из Ленинграда. Но это не из Ленинграда, а из ближних пригородов Ленинграда. И никого не оставляют, всех дальше, дальше, дальше, иди, иди, иди, и все. И нам так же. А мы не можем, нам не в чем уйти, не в чем везти вещи, не можем мы дальше. «Мы не можем». — «Идите дальше». Вот такое вот. И в это время одной ногой открывает дверь какой-то дядька в полушубке хорошем. Это именно короткая шуба, теперь бы сказали «куртка», а тогда это был полушубок овчинный. И в такой же овчинной шапке, Павел Иванович Ставрогин, никак не забыть. (*Смеется.*) Тогда мы этого не знали, а он — глава района. Мама препирается с немцем, который там сидит, по-немецки, естественно. А он стоит, слушает. Спрашивает: «Говорите по-немецки?» — «Да, говорю по-немецки». — «А можете у меня быть переводчицей?» — «Могу». Она всем могла быть, хоть с китайского переводить, только чтобы оставили. «Хорошо, оформляйте». Тут же выписывает нам бумажку, одну — хлеб получить, вторую — квартиру получить. «Завтра приходите ко мне в русскую...» Это немецкая комендатура, а есть русская комендатура.

Н. Ф.: В том же селе?

Н. Л.: Тут же, рядом, через два дома. Он говорит: «Приходите ко мне». А мы этого ничего не понимаем, нам на это все наплевать.

Н. Ф.: Замучались, конечно.

Н. Л.: Пустили бы где-нибудь переночевать. Мы выходим, идем сначала хлеб получать. Мы не можем удержаться, мы же русского хлеба не ели уже четыре месяца. Потом идем куда он сказал, получить квартиру, вселяют нас в квартиру к молодой хозяйке, как ее... не вспомню. Нюра Ковда. Устраиваемся там, моемся как-то. Это уже 21 января, то есть сколько мы...

Н. Ф.: Три недели.

Н. Л.: Три недели мы, собственно, и не раздевались ни разу.

Н. Ф.: А что, баню вам истопили или в доме где-то?

Н. Л.: Сначала просто, помыться, раздеться. И не то что вот скорее-скорее, тебя опять дальше гонят. А потом мы и в бане мылись. На следующий день идет мама... И я с нею, мы все вместе ходим, привыкли не разделяться. Идет мама в комендатуру, а там говорят: знаете, тут все переиграли, вы идите в военную комендатуру. Мы тут же идем в военную комендатуру: «Да, будете сидеть на месте этого клерка, который здесь вот сидел, и переводить». И там она остается, я иду домой, и мы дома там чего-то хозяйничаем, что-то делаем. А через буквально неделю уже находится и мне работа. Немцы задумали проводить что-то вроде паспортизации, а колхозники не имеют паспортов. Они [немцы] набирают людей, девочек главным образом, школьниц, которые знают латинский шрифт, потому что писать сначала надо латинскими буквами, потом русскими. И какой-то шаблонный набор сведений: фамилия, имя, отчество, — не очень понятно для них, что это такое. Потом возраст, какого цвета глаза, какого цвета волосы, какой рост, тут же стоит стойка эта самая.

Н. Ф.: Фотографий не было?

Н. Л.: А кто их может сделать? А потом это ж денег стоит. Никаких фотографий, описывают приблизительно. И сначала эта деревня, где они находятся, а потом уже наладили: староста каждой деревни привозит своих, по сколько-то человек. Мы это все записываем, я помню только одну девочку, Женю Плескачевскую, которая в истории нашей семьи сыграла определенную роль, потому что Иван

немедленно в нее влюбился. А у Жени тоже непросто, она сирота, живет с дядюшкой, дядюшка сидел при большевиках, а сейчас его немцы посадили, и дядюшка у нее в лагере. Она одна живет и справляется одна. Хорошая была девочка, мы с ней тогда работали вместе. Потом этого дядюшку сумели высвободить. А он учитель, из Белоруссии, что ли, там его посадили коммунисты, а здесь назначили сначала старостой, а он неприспособленный к этому был. Во всяком случае, они его на всякий случай тоже посадили. Женя осталась одна.

Н. Ф.: Да, и?..

Н. Л.: Какое-то время я там работала, весь 42-й год. А потом то ли кончилось это все, то ли они сочли, что слишком жирно меня держать на этом месте, надо использовать меня как переводчицу. И сначала перевели меня — ха! — попытались перевести меня в жандармерию. И я там дня два, наверное, поработала. Приходят люди, что-то спрашивают, какой-то им пропуск, одним дают, другим не дают. И иногда такой ходит жандарм с повязкой, задерживает беженцев, приводит. А потом, на третий день, по моему, а может, на второй, потому что очень мало времени я там просидела... Приводят ветеринара Карпова, помню до сих пор имя. И этот начальничек начинает его допрашивать: имя, отчество, то, се, вполне безобидно. А потом он что-то спрашивает, тот отвечает не так, как хочется этому начальничку.

” Он один раз повышает на него голос, потом вызывает того, который с жандармской цепью ходит, и тот, ни слова не говоря — а он здоровенный, бывают такие мужики, косая сажень в плечах, — размахивается и врезает ему в физиономию. Я остолбенела и как завоплю диким голосом, идиотское: «Неужели два взрослых мужчины не могут договориться?!»

Н. Ф.: Это вы кричали?

Н. Л.: Да. И вылетела из этой самой [жандармерии]. Это было как раз около обеденного времени. Прибежала домой на обед и говорю: «Не пойду туда ни за какие деньги». И не пошла.

И на следующий день я работала в сельхозуправлении, это было спокойно, и весело, и хорошо. Я помню этого несчастного Карпова, его потом расстреляли. Невысокого роста такой...

Н. Ф.: Он по-немецки его спрашивал?

Н. Л.: Он спрашивал по-немецки, а я переводила. Вопрос-то был такой, я не придала ему значения...

Н. Ф.: Какой-то нейтральный?

Н. Л.: Какой-то вопрос, на который тот отвечал не то, что от него ждали немцы. Ну что ж... А там... я десять лет заработала — спасибо крестьянам этого района и спасибо немцам, которые перевели меня в это сельхозуправление. Потому что единственное, что они запомнили там... Какие там работы: межевание земель, кто-то заехал не туда, погорело поле, вымочилось поле, надо поехать посмотреть, что там. И приходят просить, обязательно надо чего-то привезти, у нас привыкли, что ничего так не делается. Рыбки привезет, баночку меда, еще что-нибудь. А немец из-за своего стола кричит: налей ему. Я лезу в сейф, там стоит десятилитровая бутылка спирта, чистого спирта. И отливаю в подставленную тару столько, сколько сказано. И вот когда потом я уже читала, такая есть 206-я статья. Во время завершения следствия я должна была прочитать свое дело. И вот несколько человек из этой деревни, кого спрашивали о том, что я делала и какими кровавыми делами занималась, все как один говорили: «Она спирт выдавала». Остальное их не интересовало! (*Смеется.*)

Н. Ф.: Запомнилось! (*Смеется.*)

Н. Л.: Да-да. Конечно, все гнали самогонку, но настоящий спирт...

Н. Ф.: Да, ценность, конечно.

Н. Л.: И уже дорожку знали.

Н. Ф.: Они какие-то вещи меняли на спирт? Просто почему он им спирт раздавал?

Н. Л.: Ему принесли...

Н. Ф.: А, подарок.

Н. Л.: ...вот такую рыбину.

Н. Ф.: А он спирт им отливал.

Н. Л.: Принесут трехлитровую банку меда, как же не дать? Не свое! Всюду одинаковая психология!
(Смеется.)

Н. Ф.: Понятно.



Ваня и Надя Левитские. Последняя фотография перед войной.

Н. Л.: И это была моя работка. Первый год мы жили спокойно, и мужички спокойно жили, жиром обросли, потому что, через них когда немцы шли, вот эти фронты, они прошли чуть ли не бегом. И наши драпали хорошо, так что ничего не сожгли. Некогда им было жечь, ноги уносить надо было. И поэтому весь урожай был собран до зернышка и поделен как следует. Причем они делили не только на тех, кто реально

работал, кто собирал урожай, они учли всех, кто в армии, кто в тюрьмах сидит, там, по ту сторону. И на всех поделили. Я не знаю, осталось ли сейчас представление о том, что такое справедливо. Но тогда для нас это было что-то необыкновенное. Вот как они это сделали.

Н. Ф.: Это в этой конкретной деревне, в которой вы жили? Или вообще такой порядок был повсюду?

Н. Л.: Я не знаю.

Н. Ф.: В этой деревне.

Н. Л.: То, что я видела своими глазами. Приезжали старосты, кто-то к нам в сельхозуправление приходил... Я никогда не спрашивала их, мне это было абсолютно неинтересно. А потом, в конце зимы 42-го года... Это я забежала, наверное, вперед. Потому что в конце зимы мы переехали от Нюры Ковды, у которой жили первый месяц, в отдельную избу, в пятистенок. Знаете, что это такое?

Н. Ф.: Да.

Н. Л.: Мы переехали в пятистенок к семейству Спирковых. Это была семья: папа, мама, семеро детей, а в избе напротив жил старый дед Спирков. И у него вдоль дома стояла широкая скамейка, и на этой широкой скамейке заседал «совет старейшин». Каждый вечер, а то и днем, собирались мужики, главы семей, и решали: как пахать будем. Это не городские жители, которые думают, что им все сверху свалится. Приходит время, надо пахать, техники нет. Они, значит, с Божьей помощью и с помощью немцев кое-как собрали один трактор. А на чем он поедет?! Как они его переделали, я не знаю, но они его сделали на чурке. Они пилили чурки: тебе, себе, начальнику. Вот так. Просто двуручной пилой сначала. Надо было напилить такое количество... Потом, тоже не знаю как, не знаю откуда, появилась циркулярная пила, и стали ею пилить. На этом погорел тракторист.

Н. Ф.: А она от чего работала, от какой энергии? Крутили там что-то?

Н. Л.: Не знаю, не буду врать. Электричество же было какое-то. Не помню совершенно, и спросить теперь уже некого, Ивана нету уже. Во всяком случае, единственный тракторист настоящий, квалифицированный, молодой парень, отрезал себе палец на этой циркулярке. Прискакал к нам в сельхозуправление, глаза буквально на лбу, и кровь хлещет, ужас!

Ну а потом надо было делить — как делить землю. 42-й год, а колхозы эти начались в 33-м здесь. Еще десяти лет нет, все помнят, где «мое было». Тут я не берусь говорить, все сведения об этом, как они там делили, как что делали, шли от Ивана. Потому что вместе с этими главами семей и дедами Иван там на скамеечке все время заседал.

Н. Ф.: Он как глава семьи считался?

Н. Л.: Ну, единственный мужик! (*Смеется.*)

Н. Ф.: Понятно.

Н. Л.: А у него тогда еще никакой работенки не было. Ему как раз в мае должно было пятнадцать исполниться. Ну и когда снег сел и в поле можно было выйти, смастерили — наверное, специалисты знают, как это называется: такая штуковина деревянная, определенной величины. Наверное, имеет какое-то свое название, я его не знаю.

Вот они соорудили такую штуковину, и всей толпой, сколько их было, с утра выходили в поле и начинали мерить, кому сколько и где у кого что стоять будет. И как они поделили, на кого делили, не знаю. Во всяком случае, все мирно, тихо. Потом, когда начался сев, работал один трактор. Лошадей понасобирали за это время каких-то выбракованных, наших, брошенных, немцами — вряд ли, потому что они там списывали как следует. Вот тоже, удружило наше начальство: ни одной чтобы ни лошади, ни коровы не осталось, всех угнать. А с чего люди жить должны? Слава Богу, коров, по-моему, не угнали. А лошадей, конечно, не было. Были больные, раненые, и их уж как только не ублажали, чтобы они немножко могли помочь. И пахали всем: и старому, и молодому, и бабкам одиноким. Всем всё,

как следует быть, сделали и потом посеяли. И такие довольные все были, что все как-то движется, делается. А у нашего хозяина...

Н. Ф.: А колхоз они распустили, конечно, эти люди?

Н. Л.: Господи, о нем никто и не говорил и не думал. Начальство все драпануло, начальства не было...

Н. Ф.: Известно же: ошибка немцев, что они сохранили колхозы. Как их сохранишь?

Н. Л.: Они северную Россию оставили на погибание: делайте что хотите, помирайте как хотите. Они Украину грабили, это понятно. Ну, она знаменита, Украина, оттуда они все увозили. А здесь мужики в разговорах — с мамой, конечно, со мной-то не очень говорили, что я, девчонка семнадцатилетняя, — а с мамой они говорили: «Господи, да какие это налоги у немцев, да мы их три раза вокруг пальца обведем. Десять раз одно и то же поле показываем, и списываем все, если надо. Это все ерунда, мы не к тому привыкли». (*Смеется.*) Они еще помнят продрозверстку и всякие прочие радости жизни, а тут ерунда, никто в погреб к тебе не лазает. А когда это началось? 42-й год был более-менее, в 43-м.

Н. Ф.: Вот я хотел спросить, а как вы так хорошо выучили немецкий? В школе?

Н. Л.: Нет, у меня была любимая учительница, которая приходила каждое воскресенье. И я очень любила эти занятия с нею, и читала много уже тогда.

Н. Ф.: А Иван так хорошо не знал немецкий?

Н. Л.: А с Иваном она начала заниматься, но в субботу у него каждый раз или живот болел, или колено болело, или еще что-то. (*Смеется.*) И сколько-то времени мама всячески, так сказать, его стимулировала, а потом плюнула: «Не хочешь — тебе же хуже будет». А он все-таки научился, и во время оккупации я знала немецкий, мама знала немецкий, а газеты читал только Иван. (*Смеется.*) Их нельзя было достать, какие-то обрывки, но если дорывался, он-таки читал. А потом, когда мы в госпитале работали, уже тут он вел пропаганду среди немецких солдат. (*Смеется.*)

Н. Ф.: Так как дальше развивались события? Значит, начался сев, вы дошли до сева.

Н. Л.: В 42-м, я говорю, все было очень хорошо. Откуда у них что бралось?

Н. Ф.: У крестьян?

Н. Л.: У них все было, кроме сахара. А мед? Сколько хочешь. Откуда такое? Приезжали в комендатуру, просят пропуск: им надо в Новгород проехать за снетками, вот не могут они без снетков! Ой!.. (*Вздыхает.*) Тут голову бы сносить, а им снетки нужны! (*Смеется.*) А это только в Новгороде! А в 43-м началось такое... Надо сказать, что наша сторона железной дороги была полевая и густонаселенная. Тут было много деревень, и тут было сельское хозяйство всяческое. А по ту сторону железной дороги был лес. Это была лесная сторона, деревни были далеко, дальше друг от друга. Они в наш район не входили, они входили в какой-то другой район, даже не знаю, в какой. И жили там, в основном, старoverы. В нашем районе тоже были старoverческие деревни, очень крепкие. И они никогда не зайдут, никогда не выпьют из той чашки, из которой кто-то пил, только из своего. И потом еще с чем я столкнулась, когда заполняла эти паспорта так называемые: очень много неграмотных. Всеобуч до них долго еще не дошел.

Н. Ф.: Но они ведь были все взрослые, пожилые люди, наверное?

Н. Л.: И пожилые, и молодые. Старoverы все были грамотные. А обыкновенные православные — сплошь и рядом [неграмотные]. И потом что значит «пожилой»? Ему сорок — пятьдесят лет, не такой уж старый, а ставит кресты, три креста. И таких было очень много, не один-два.

И еще одно. Вот наш хозяин, Николай Спирков, семеро детей у него. У каждого своя фамилия: один Спирков, другой Спиридонов, один Спирин, другой — еще как-то. И спрашиваешь: «Как твое отчество?» — «По отцу или по крестному?» И тут только со старостой: «Староста, как ее писать? У кого она у вас числится?» И еще: если спрашиваешь: «Как ваше отчество?» — она оглядывается, ищет кого-то, потому

что [разговаривали] только на «ты».

” А мы сидели там, девчонки, и, раз уж мы пишем латинскими буквами, значит, мы уже как-никак образованные, не привыкли к старым людям на «ты». А они только на «ты», так принято было.

Так вот, в 43-м году или, может быть, в самом конце 42-го по ту сторону железной дороги начали появляться партизаны. Не было до этого партизан, это все, так сказать, привнесенное. Ну и, соответственно, реакция немцев. Партизаны приходят ночью, хотят и кушать, и пить, морозы сильные, им надо во что-то одеться, обуться. А утром приходят немцы: «Партизаны были?» — «Были». — «Принимали?» — «Да, а как же, что сделаешь? Пришли, зашли, забрали». Те забрали, и эти заберут, что можно. И раз, и другой, и третий. А потом у немцев быстро решается: значит, надо выселить всю деревню. Вернее сечь — спасибо не с людьми. Да, а еще что делали: пришли партизаны и увели всех мужиков.

Н. Ф.: Мобилизовали в партизанские отряды?

Н. Л.: Ну конечно, иначе немцы возьмут! В общем, кончилось тем, что немцы начали выселять деревни с одной стороны железной дороги на другую сторону железной дороги. И вот приходят, рассказывают: «Сегодня целую ночь шли люди оттуда сюда».

Н. Ф.: Уходили от этих акций?

Н. Л.: Нет, немцы их гнали. И куда-то их надо поселять, где-то они расселяются.

Н. Ф.: Но это уже лето было.

Н. Л.: Какое лето, самая зима 43-го года!

Н. Ф.: Соответственно, 42–43-го.

Н. Л.: Да-да-да. Но ближе туда, к 43-му. И дальше больше, дальше больше. А потом смотрим уже в нашу деревню эстонцы пришли, очень их не любили.

Н. Ф.: Их не любили, эстонцев?

Н. Л.: Да, потому что они были хуже немцев.

Н. Ф.: Эстонская полиция?

Н. Л.: Нет-нет, солдаты. Вот эти их национальные... Не знаю, не буду врать. В общем, эстонцы пришли.

Н. Ф.: Военные.

Власов и власовцы

Н. Л.: Какие-то были эстонцы. А один раз пришли власовцы и остались у нас жить.

Н. Ф.: В вашей деревне?

Н. Л.: И так их встречали: наши солдатики? Какие они, кому они кланяются — бабам было абсолютно наплевать, а особенно девкам.

Н. Ф.: И сам генерал тоже приезжал?

Н. Л.: Генерал приехал на один день, он устроил смотр своим войскам, куда-то они ходили, по снегу ползали за деревней. А потом устроили собрание, загнали их, не помню, это был большой коровник

или еще что-то, отмыли. И он какую-то речь держал перед ними.

” А народу собралось! Со всех сторон, по обе стороны дороги стоят, умиляются, крестятся. И все повторяют: «Наш, наш, совсем наш!»

А он же был высокий, здоровый такой, с ним эта свита немецкая, и немцы тоже обыкновенно тонкие и высокие, а тут подобрали ему каких-то мелких пузатиков, над которыми он на голову поднимается. Принимали его.

Н. Ф.: А какое впечатление от него? Как-то вы его рассматривали, понимали, что русский генерал?

Н. Л.: Конечно. Раньше знали, что такой есть, Власов. И в эту комендатуру приходили люди, хотели записаться во власовскую армию. Не записывали: «Идите в полицию». — «Нет, в полицию не хочу». И это не один, не два, очень хорошо понимали: «Я хочу во власовскую армию», — а не в немецкую полицию и не в местную полицию.

Н. Ф.: Интересно. Это было какое время?

Н. Л.: Это был 43-й год.

Н. Ф.: 43-й год, а месяц какой?

Н. Л.: По-моему, 43-й, зима.

Н. Ф.: Они были с оружием, эти власовцы? Они, наверное, боролись с партизанами?

Н. Л.: Нет-нет-нет! Они просто стояли. Я не знаю насчет оружия, потому что меня это мало интересовало. Молодые, русские, и были среди них вполне интеллигентные ребята. Свадьба была у нас одна с ними.

Н. Ф.: Кто же?

Н. Л.: Беженка из-под Ленинграда. Они приехали большой семьей, отец, больная мать, ее везли. Старшая дочь Катя была, а младшая не помню, Наташа что ли. Старшая была замужем, и тут же был ее муж, такой интеллигентский хлюпик. Младшая завела роман. Потом эти власовцы давали концерт, первый раз услышала я «Вьется в темной землянке огонь», ну а что петь они могли, только советские песни.

Н. Ф.: И как же судьба сложилась у этой пары, неизвестно?

Н. Л.: Понятия не имею. Отца их, когда всех гнали вперед, оставили и поставили директором бывшего совхоза. Был такой совхоз «Дубровка» там...

Н. Ф.: Немцы?

Н. Л.: Немцы, да. Они туда уехали из Пожеревиц и там работали. Причем все работали, папенька был очень крутой, никому не давал расслабиться и лодырничать. И совхоз работал худо-бедно. Потом, наверное, уехали они вовремя, лошади у него были, а может, уже и машину завел, не знаю. Во всяком случае, интеллигентная настоящая семья была. Это, собственно говоря, единственная семья была из всех, с которыми можно было общаться на собственном уровне каком-то.

Н. Ф.: Они тоже откуда-то из-под Ленинграда?

Н. Л.: Да, из-под Ленинграда, не знаю откуда. Гатчина была занята, мало ли.

Н. Ф.: Это была зима 42–43-го года?

Н. Л.: Мне кажется, это была зима 42–43-го. Но с датами я каждый раз путаюсь: так или не так, та зима или не та зима. Ну а дальше было такое: вечером выходишь на крыльцо собственного дома, и там широкий горизонт, можно далеко видеть.



И кругом горит: и тут горит, и тут горит, и тут горит — то ли немцы, то ли наши жгут деревни. И становилось очень-очень неуютно.

Все это сужалось, сужалось, сужалось, и настал момент, когда совершенно ясно было, что надо уходить, что явно наши продвигаются. Мы вполне реально давали себе отчет, что если сюда придут советские войска и застанут нас в качестве переводчиков, висеть нам безо всякого спросу, никто не будет долго рассуждать. И тогда мы воспользовались предложением... Все-таки мы довольно долго уже работали с этим составом немцев. И договорились, что они нам предоставят возможность уехать на их машине до города, по-латышски он называется Резекне, а по-нашему Режица. Это была уже Латвия. В какой-то день погрузились и поехали. Но ехать можно было, естественно, только в светлое время. Светлое время зимой, как известно, не очень длинное, так что мы за один день не успели, где-то остановились на ночевку.

Бегство в Резекне

Н. Ф.: То есть лето 43-го года вы там не провели.

Н. Л.: Нет, по-моему, нет. Буду дальше рассказывать, сами рассудите. Утром просыпаемся, а Ивана нету. Туда, сюда — нету, пропал парень! (*Вздыхая.*) Естественно, ехали мы не одни, были какие-то немцы, которые везли. Сразу же сказали: вот, парень пропал. Они звонят туда, откуда мы уехали: «Есть, — говорят, — нашелся». «Рыцарь», поехал неизвестно на чем выручать Женю Плескачевскую, чтобы она с нами ехала.

Н. Ф.: Женя ее звали, да?

Н. Л.: Да. Я говорила: единственная, кого я запомнила. Первый его роман. Ну и его, конечно, сразу же немцы сцапали. Слава Богу, там были какие-то знакомые немцы, они поняли, что это такое и кто он такой, поверили ему. Это партизанская зона, елки-палки, а он ночью там где-то...

Н. Ф.: Шляется.

Н. Л.: ...шляется. Дубина стоеросовая! Понимаете, что с мамой было? (*Смеется.*)

Н. Ф.: Могу себе представить.

Н. Л.: Как-то его доставили быстрым способом, поехали дальше, приехали на следующий день в Резекне. Остановились мы у какой-то женщины, которую не знала мама, но на которую ей было указано: дали ее адрес, что у нее можно остановиться, что у нее перевалочный пункт, она всех пускает, кто из России.

Н. Ф.: То есть это как-то через немцев получилось?

Н. Л.: Нет-нет-нет-нет-нет! Это, наоборот, домашние сведения, это уже на маминой совести, она это организовала. Мы должны были там испросить разрешение у хозяйки дома в этом ее доме ночевать. А дом большой, пять-шесть этажей, для нас это дико. Для меня. Для мамы — нет, для меня это дико. Я уж не помню, как мама с ней расплачивалась. Золотыми... Немецкие вообще никого не интересовали деньги. Вернее, я не знаю. Пошли мы вдвоем с мамой к этой даме. А в квартире, где мы остановились, люди вповалку лежат. Приехали, а куда дальше, никто не знает. Мыкаются, бегают, что-то ищут, ничего не находят. А тут открывают нам двери, входим мы, полусвет, сидит эта дама в большом кресле, мягкое глубокое кресло. Мы стоим, лапки поджавши: «Разрешите...» А там, видно, еще одна комната, еще одна комната, и так красиво обставлено все — у меня глаза на лоб. (*Смеется.*)

Н. Ф.: Представляю.

Н. Л.: Разрешили, пришли мы вниз с разрешением. На следующий день мы с мамой идем неизвестно куда,

чтобы найти какую-нибудь работеночку и какое-нибудь жилье.

Н. Ф.: А Иван? Или вы все втроем ходили?

Н. Л.: Вдвоем ходили с мамой.

Н. Ф.: А Иван сам по себе?

Н. Л.: Даже не помню, что с ним было, и где он был.

Н. Ф.: Но Женю-то он уговорил ехать с вами?

Н. Л.: Да ну какая Женя! Я не знаю... *(Смеется.)*

Н. Ф.: Так и не доехал.



В школе. Слева направо: Люся Немировская, Надя Левитская, Лида Смирнова. 1941 г.

Н. Л.: Ну вот, и тут, как тогда Павел Иванович Ставрогин вошел и оставил нас своею государевой волей: «Будете у меня работать, и все». Так и сейчас случилось. Идем мы, видим — грузовая машина военная немецкая разгружается. И явно это не солдатские вещи, а что-то медицинское. Около здания, на школу похожего. Так и оказалось: бывшая школа, несколько этажей, с высокими окнами. Входим туда, ни тебе караульного, ни тебе «Убирайтесь отсюда!». Открываем большую дверь, по широкой лестнице спускается целая группа немецких офицеров с плетеными погонами, то есть не военные офицеры. Я такие видела только у своих зондер-фюреров в сельскохозяйственном управлении. Это такие недоофицеры. Мама

подходит к ним, спрашивает: «Не будет ли у вас здесь работы для меня и для моей дочери?» Выясняется знание немецкого языка, потом выясняется, что мама знает работу с микроскопом, поскольку она работала до войны в лабораториях. «Да, наверное, вам будет работа, потому что нам нужен в лабораторию лаборант, это само собой разумеется. А вы что можете? Говорить по-немецки? Писать тоже можете? Ну пойдёмте, я посмотрю, как вы можете писать». Он ведёт меня, поднимаемся на ближайший этаж, даёт мне лист бумаги, ручку и начинает диктовать, знаете, эти немецкие бесконечные фразы с nicht на конце, чтобы все отрицать. И там ещё латинские слова с немецкими окончаниями, — в общем, заковыристые. Но простые фразы для того, кто знает язык. Я все написала, он посмотрел, говорит: хорошо, завтра приходите, будете у меня работать помощницей на амбулаторном приеме.

Тут же мы получили комнату в благоустроенном доме. Там же двух-трехэтажные домики со всеми удобствами. И сразу нас ставят на питание в госпитале: а парень, он может работать у нас Hilfsarbeiter, то есть подсобным рабочим. Будет развозить еду и что надо из центральной кухни сюда, в наше отделение, ещё куда-то. Так он и работал, хорошая у него была работеночка.

” И я вышла на работу, надо было что делать: мыть инструменты, подготавливать их, и потом, к тому времени как профессор начинает принимать, я должна сидеть за столом, и он мне диктует, что у больного находит. Чтобы он сам брал ручку и писал, как наши врачи столько времени тратят на это? Никогда!

Почему этого не может сестра делать? Я должна греть воду для промывания ушей: опускаю палец, чтобы не ошпарить человеку ухо и чтобы не холодно было.

Н. Ф.: А он отоларинголог был?

Н. Л.: Отоларинголог, да. И оказался замечательным человеком. Во-первых, он был преподающим профессором, он не мог ничего делать, не объясняя, что он делает.

Н. Ф.: А как его звали?

Н. Л.: Профессор доктор Лайхер, Ганс Лайхер. У него была своя клиника во Франкфурте-на-Майне, потом ее разбомбили. Но после войны восстановили, это я узнала уже после. И был он, кроме того, что в госпитале заведовал ушным отделением, консультирующим отоларингологом при главном враче 16-й армии. То есть это было государственное достояние. Очень хорошо я там работала, и жили мы там хорошо, и все было чудесно. И это было очень недолго. Вот сейчас опять начну путаться в годах...

Н. Ф.: Неважно.

Н. Л.: Во всяком случае, на Пасху, на их Пасху, в первый же день наши устроили хороший налет и измолотили этот маленький милый чистенький городок. Подвалов в школе не было, свели мы больных в нижний коридор без окон, чтобы хотя бы от осколков раненых уберечь, и сами сидели там. Мама где-то у себя, Иван тоже где-то. Кто где — неизвестно. Немцы, побывавшие на Западном фронте, говорили, что бомбежка была очень серьезная. Мне хватило страху и всего прочего, но, во всяком случае, все оказались живы. Первым Иван добежал до нашего жилья, потом я пришла, и мама пришла. И наутро было объявлено, что сестер немецких и профессора увезли.

Н. Ф.: Ранило их?

Н. Л.: Нет, их на самолётике увезли. Это немецкое достояние, немецкие женщины не должны подвергать себя такой опасности. Они ещё не знали, что им предстоит. И заведующим нашим отделом стал глазник, вертлявый такой доктор. Все надо упаковать, чтобы можно было перевезти в другое место. В операционной сестры нету, её увезли вместе со всеми; кроме меня, никого и нету. И я упаковала все эти вещи, мы подготовились к переезду в другое место, не помню, через день или на следующий день.

Нас в общей столовой кормили — наверное, один день и был.

Тут был такой эпизодец, этот окулист, он решил, что уже большая шишка, раз стал заведующим отделением, и он приказал мне постелить ему кровать, а Ивану приказал чистить сапоги. Я, поплавав, все это сделала, а Иван сказал, что он не будет этого делать, что каждый должен сам все делать. А доктор, между прочим, знал, что наш отец — профессор, и он по-хорошему начал с Иваном говорить: «Ну, хорошо, твоему папе кто сапоги чистил?» — «Папа сам чистил, и еще и маме почистит». Слава богу, что, по-моему, на следующий день мы уехали оттуда.

Переезд на запад

Н. Ф.: Уехали?

Н. Л.: Да, уехали оттуда в город Люцен, или Лудза по-латышски. И там распаковали все, и я одна в операционной, и никого больше нету, как говорится, хоть стой, хоть падай. И сразу же начали привозить больных. Пока амбулаторный прием — ладно, все идет как следует быть.

Н. Ф.: Кто-то с вами был, врач какой-то?

Н. Л.: Прислали какого-то, у них это все налажено. И вот тут было у меня испытание первое, потому что надо было, даже два врача были, по-видимому, а может, это фельдшер второй был. Я совершенно не помню, как они выглядели, как их звали, ничего не помню, все это так кратковременно было. Но был такой эпизод: лежит больной на столе, уже дают ему наркоз, а он вдруг начинает шевелиться. По-видимому, мало дали, наркоз был внутривенный. А он начинает просыпаться, или с сердцем у него плохо, не знаю. Во всяком случае, вдруг мне поступает команда: «Натяни там». Я уже не помню, какое лекарство, надо делать внутривенный укол. Внутримышечные, подкожные — это я делала очень просто, а внутривенных никогда не делала, это все-таки ответственная вещь.

” Я натянула то, что надо было колоть, стою со шприцем: «Кто колоть-то будет?» — «Ты коли». И они мне начали диктовать, вот так, эдак, то сделай, это сделай. Слава богу, больные-то все солдаты молодые, вены у них здоровые, так что не проколола я насквозь, все сделала, но страху натерпелась.

В Лудзе мы пробыли лето, веселое, хорошее было лето, можно было днем на озеро идти.

Потом был второй переезд, еще дальше на запад, маленькая, даже не знаю, деревня или поселок, называлась Ропажы. Прямо в сосновом лесу стояли бараки, и в этих бараках располагалось наше отделение. Все не было нашего врача. Но это все было ухогорлонос, по-моему. А где-то стало уже не ухогорлонос, а хирургическое отделение обычное. И был там такой маленький доктор Петерс, про которого солдатики нас предупредили: «Имейте в виду, он партийный». То есть у них это было что-то, не каждый третий был партийным. Очень веселый и приятный был доктор.

Н. Ф.: Они имели в виду, что с ним надо поосторожней, что он может?..

Н. Л.: Да-да, просто «имейте в виду». Еще в промежутке, там уж точно было хирургическое отделение, очаровательный город Мадлена. И там тоже побыли сколько-то, рядом с Митавой, которая называлась по-латышски Елгава. И кончилось это все в Курляндии. Если посмотрите по карте, это уже около Вентспилса, на берегу моря.

Там мы пробыли всю последнюю зиму. И там нам прислали, он был отоларинголог, такой мясник, жуткий! Из тех врачей, про которых складывают легенды, что он инструментами кидается, орет, — отвратительный был тип. Мы решили от него сбежать и написали доктору Петерсу...

Н. Ф.: А доктор Петерс кто был?

Н. Л.: Маленький хирург, с которым где-то мы работали. По-человечески очень приятный человек. А то, что он был партиец — это его дело, нас это не касалось, нас он не пропагандировал. Мама уже ни в какой лаборатории не работала, она работала палатной сестрой. И это самое наше последнее место в Курляндии, куда мы приехали и где разгулялся этот врач... и фамилии не помню, ну его! Это было около станции Стенде, в двух километрах от города Талси — маленький, очень милый провинциальный городок. Вот и работали.

Тут уже был по-настоящему фронт — лазарет, нам прямо с фронта возили раненых ночью. Днем нельзя было, а ночью, только спать ляжешь: привезли больных. Встаешь — и туда. Один раненый, потом уже, когда оклемался, и все было для него более-менее хорошо, мог говорить, и я с ним могла говорить. Он говорит: «Знаешь, как я тебя увидел? Нас везли с фронта, привезли сначала в одно место, там перетрясли всех, потому что привезли в центральный пункт, а потом привезли сюда, тут какой-то свет, захожу в освещенную комнату, и ты подходишь и говоришь: „Снимай штаны!“» У него в формуляре было написано, что ему [прививку от] столбняка не делали. А я в длинном резиновом фартуке ввела ему противостолбнячную сыворотку. (*Смеется.*)

Там мы прожили всю зиму 44–45-го, у нас уже ничего не оставалось. Мы выходили раз, что ли, в неделю, собирая все, что только можно надеть, чтобы в бане помыться, потому что обносились до предела.

Н. Ф.: На те деньги, которые они платили, ничего купить нельзя было?

Н. Л.: А какие деньги были? Я даже не помню, как они выглядели и были ли они.

Н. Ф.: Просто за кормежку?

Н. Л.: Слава Богу, кормили, слава Богу, была крыша над головой и работа. Все-таки при каком-то деле, про деньги...

Н. Ф.: Никто не вспоминал.

Н. Л.: Да и потом, где покупать? Какие деньги, мы были в лесу!

Н. Ф.: Да, понятно.

Н. Л.: Это была сельская школа. У нас были какие помещения: большой класс, по-видимому, школьный, где стояли двухэтажные нары и лежали легкие больные. И наверху, в мансарде, на чердаке, так сказать, были тоже двухэтажные нары — для тех, кто может по лестнице ходить. И в той комнате, которая была рядом с операционной, тоже стояли двухэтажные и четыре только постели для тяжелобольных. А пройдя мимо этих четырех больных, в парадном, мы ночевали, я с мамой и Иван.

Н. Ф.: Иван в это время уже не работал?

Н. Л.: Он работал там все время разнорабочим.

Н. Ф.: Я понял так, что этот же его уволил за то, что он сапоги не почистил?

Н. Л.: А чего нас увольнять — мы в тот же день уехали.

Н. Ф.: Уехали...

Н. Л.: И мы больше с ним и не виделись. Он ничего не сделал.

Н. Ф.: Этот врач?

Н. Л.: Да. Хотя по тому, что у нас пишут, он бы сейчас же всех пристрелил.

Н. Ф.: Ну да.

Н. Л.: Ничего он не сделал, он спросил его, и все.

Н. Ф.: Как положено.

Н. Л.: Я хочу сказать, что когда с ним по-человечески, он вполне понимает, он вполне человек, сразу же за пистолет не хватается. Это не то, что у них в крови так.

Н. Ф.: Ну да, это от человека очень сильно зависит, конечно.

Н. Л.: Да-да. Вот этот вот, от которого мы сбежали под конец... Мы работали, а потом, говорю, стало невперенос, как этот тип с нами обращается, мы написали доктору Петерсу: если можно, напишите требование, чтобы нас перевели.

Н. Ф.: У вас связь с ним оставалась?

Н. Л.: Я уже не помню.

Н. Ф.: Мама, вероятно, имела какую-то...

Н. Л.: Эта связь была. Во всяком случае, почта там работала безукоризненно. А тут произошло следующее. Было все это весной 45-го. И только когда объявили, что Гитлер застрелился, или что Гитлера нет больше, они серьезно задумались. Потому что до того все было: «Der wird was erfinden», «Этот что-нибудь придумает».

Н. Ф.: Они на него надеялись?

Н. Л.: Ой как надеялись!.. И верили в него, и надеялись, до самого конца, просто диву даешься. Уже им на хвост нажали, уже вот-вот, все, конец. Уже ничего не осталось, неизвестно, куда ехать, — жуть.

Я помню косогор, травка чуть-чуть уже обсохшая, и лежат они там и не разговаривают между собой: это госпиталь, они друг друга не знают. Причем это госпиталь такой, что их только привезли, они из разных частей, поэтому они не делятся своими мыслями.

Н. Ф.: Уже конец войны?

Н. Л.: «И вообще, что делать, что будет с нами?» Я от них такое и услышала: «Der wird schon was erfinden», «Этот что-нибудь придумает».

Во всяком случае, слишком он нас достал, этот самый [доктор], на жеребца похожий, огромный, здоровенный, костлявый какой-то. Написала мама доктору Петерсу, и тот ответил: «Приезжайте».

Капитуляция Германии

Н. Ф.: А уже конец войны?

Н. Л.: Ну, это вы сейчас говорите. Нам же тогда этого совсем не видно было. Никаких газет не было, радио не было, ничего не было для нас.

Н. Ф.: То есть где фронт проходит, вы не знали?

Н. Л.: Понятия не имели. Мы знали, что он близко, но мало ли, может, в этом месте он здесь, а в другом иначе.

Н. Ф.: То, что под Берлином идут бои?

Н. Л.: Ничего мы не знали. Это теперь: вставил в ухо — и тебе все наговаривают, откуда хочешь и что хочешь. Мы быстренько-быстренько, а что нам паковать, вещей-то с гулькин нос. Выходим на большую дорогу, по которой ходят автобусы. Такая была бумага, которая называется Reisebefehl. Это приказ для путешествия. Подходим к первому поставому, который там регулирует движение, показываем ему,

он задерживает первую же машину, мы туда погружаемся — и поехали. К середине дня мы доехали. Приезжаем, подходим, будка стоит на выходе. Даем постовому или кто там сидит, нашу бумажку, говорим: нам нужен доктор Петерс. «Да, он здесь, но, знаете, сейчас все офицеры ушли на совещание». Ушли на совещание, так просто... Мы сидим, ждем, открывается дверь, выходит куча офицеров. Первым из них доктор Петерс, маленький, шустрый такой, увидел нас, бежит навстречу. И говорит таковы слова: «Знаете, война-то кончилась. Нас сейчас всех собрали, так что никакого места я вам дать не могу, а вы лучше возвращайтесь, откуда приехали». Опять пишут нам Reisebefehl, и мы опять... Это, 8-го, нет, у нас это кончилось 12 мая, капитуляция дошла... Это был Курляндский котел, мы тогда только узнали, как это называется, — то, где мы жили.

Н. Ф.: Да, понятно.

Н. Л.: И вот таким же макаром, чинно, благородно, без единой остановочки, у каждого следующего постового нас сажали в следующую машину и отправляли дальше, по назначению.

Н. Ф.: А обратно — туда, откуда приехали? Какой смысл в этом?

Н. Л.: Я не знаю. Это уже вопрос не ко мне.

Н. Ф.: А вы все втроем? Со всеми вещами?

Н. Л.: Втроем, со всеми вещами. Ой, боже мой!

Н. Ф.: Их было мало?

Н. Л.: Сумочка — и все, рюкзаков даже не было у нас. Приехали туда, не где мы работали, а в центральное место. Приехали, заявляем: «Мы такие-то, вот бумажка». Выдают нам паек на несколько дней вперед, все что положено, консервы, еще что-то, в общем, какая-то еда. А уже никого нету, все уехали в Вентспилс. В Вентспилсе у них единственная надежда на какой-нибудь пароходишко успеть. А пароходы топят же.

Н. Ф.: После 12-го топили все равно?

Н. Л.: Я не знаю. Мы до Вентспилса не доехали, чего нам в Вентспилс, столько же там радости, сколько и здесь.

Мы еще раз пересмотрели все вещи, уничтожили все письма, фотографии, которые с веселыми надписями дарили. Все-все уничтожили, чтобы не было отягчающих обстоятельств. Свалились спать. На следующее утро, собрав вещички: все, что мы получили, вышли на улицу, а куда идти — неизвестно. Но надо искать какое-нибудь место, чтобы крыша над головой была.

” А тут немцы кругом веселые! А с чего радуются-то последний день? Веселые: «Войне капут! И вот мы такие хорошие, мы радуемся. Война кончилась, теперь все будет хорошо».

Вторую ночь мы ночевали на каком-то хуторе, в сарае на сеновале, переночевали и дальше дошли до какого-то хуторка, где хозяин хорошо говорил по-русски. Хорошо — не хорошо, но понимал. Говорит: «Оставайтесь здесь жить». Два километра до города. На следующий день мы пошли в город, в больницу, маму сразу взяли в лабораторию, а меня поставили санитаркой в брюшно-тифозное отделение.

Жизнь на хуторе под Вентспилсом

Оставили нас эти крестьяне у себя работать. Он хорошо говорит по-русски, жена так, чуть-чуть. И еще у них работница, Марис, та вообще не говорит, только материться умеет по-русски. И сынишка четырнадцати лет. Пошли мы работать, а Иван, конечно, стал помогать хозяину. Все встали, работают,

и он пошел с ними работать. Это было в середине мая, числа 15-го. До начала июня мы работали, а потом вдруг прошел слух, что всех русских будут эвакуировать в Россию, русские должны ехать домой. Всех русских надо сократить. Первым делом нас сократили. Мама, конечно, в расстройстве, а я очень рада... Через два дня все отменяется, никто никуда не едет, всех оставляют. Мама вернулась в лабораторию, я осталась у хозяина работать.

Я до войны окончила восемь классов. Значит, мне надо подготовиться к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Тут вот что еще надо сказать. Это было 14 июня, а может, 15-го. Русские же кругом, какие-то газеты попали к нам, — и там черным по белому написано, что Григорий Андреевич Левитский, член-корреспондент Академии наук награжден орденом Трудового Красного Знамени. Академики все получили орден Ленина, а члены-корреспонденты — орден Трудового Красного Знамени. Мама — телеграмму. А президент — Вавилов Сергей Иванович. Мама — телеграмму Сергею Ивановичу. Ноль внимания, фунт презрения. Через какое-то время она опять дает телеграмму. Во всяком случае, она до выяснения...



Надя и Ваня Левитские с отцом на балконе дачи Куриса.

Н. Ф.: Вы считали, что он жив, раз награждают?

Н. Л.: Ну а как? Единственное, что нас смутило: у всех пишут, где он работает, а у него ничего не написано. Он же был в этом самом ВИРе, ВИР-то эвакуировался. В общем, надо все это выяснить. Мама поехала в Ригу, а ехать, сами понимаете, на попутках.

Н. Ф.: Послевоенное время?

Н. Л.: Да. Приехала в Ригу — не было бы счастья, несчастье помогло. Я уж не знаю, звонила она, телеграфировала или еще что-то, но на почте она встретила мужа своей двоюродной сестры, которая осталась в блокаде. Он ихтиолог, Петрушевский Юрий Кузьмич. И в командировку он приехал в Ригу по каким-то делам. Во всяком случае, у него была командировка, у мамы не командировка, а просто так. *(Усмехаясь.)* Но живой человек приехал!

Н. Ф.: Да, встретились.

Н. Л.: Узнала, что сестра ее жива, и дочь ее жива, и что они в Питере, были в эвакуации, уже приехали. И он все о нас узнал и сказал маме, что Ивану исполнилось восемнадцать 31 мая, и в весенний призыв он не попал, а в осенний его должны забрать. Этот Юрий Кузьмич сказал: «Пусть поступает в какой-нибудь техникум, который дает бронь от армии». А у Ивана шесть классов до войны. Он тут же срывается, едет тоже в Ригу, сдает экзамен за седьмой класс, узнает, что в Латвии в Даугавпилсе есть железнодорожный техникум, а он всю жизнь мечтал о поездках. Они с мамой ездили специально в такое место, где разветвления железной дороги: ездили смотреть поезда и договаривались по дороге, сколько поездов пропустят. А тут, значит, само в руки падает. Он поехал и осенью поступил в железнодорожный техникум. Мы остались вдвоем, уже все-таки не война, а мирное время.

Н. Ф.: А Петрушевский ничего о судьбе вашего папы не знал, естественно?

Н. Л.: Нет, ничего не знал. Для него это тоже...

Н. Ф.: Да...

Н. Л.: А все эти письма, мамины телеграммы, они все аккуратненько подшиты к делу моего отца в Академии наук. Это я узнала уже много-много позже.

Н. Ф.: Никто не решился ответить.

Н. Л.: Как же, как же. Они-то уже знали, что проштрафились. Что они дали орден человеку, который в тюрьме и которого уже нет: к тому времени он умер. Во всяком случае, вот то, что я знаю и что было с нами.

Я осталась у этих спасших нас крестьян, где мы отъедались и отсыпались. Вставать надо было очень рано, но и ложиться можно было с заходом солнца. И еда была такая, что больше не могу. Единственный раз, когда я была действительно полная. Иван говорил: «Щечки носик задавили, ротик караул кричит».

Но это длилось недолго, до первого курса университета. Очень хорошо мы на этом хуторе работали, просто замечательно. У этого хозяина было десять гектаров земли, из них три гектара — сад. И известен он был в округе как садовник. Сад, роскошные яблони, груши, сливы, в общем, все как положено. И эти десять гектаров были разделены на маленькие участки. Был участок, где паслась скотина, две коровы, телята, еще какие-то [животные]. В общем, для выпаса два кусочка: на одном пасутся, другой растет, третий готовится на следующий год. Потом было засеяно что-то картошкой, что-то моркошкой, еще чем-то, и мы где-то там работали.

” И вдруг слышим дикий крик этой вот Марис, работницы. А она вопит, матерится и орет благим матом. Бежим туда, смотрим: солдат держит барана за задние ноги, а Марис за передние, или наоборот, не помню. И оба матерятся, ругаются. И не уступают, нет. Марис такая была — никому не уступит.

А тут мы прибежали, оба говорим по-русски. Солдатик немножечко очухался. Не помню уже, чего ему дали. Во всяком случае, он отстал, барана спасли. Надо сказать, за эту зиму хозяин наш перерезал все, что можно. Всю лишнюю скотину. Мама над ним смеялась и говорила: «Правильно-правильно делаешь,

хозяин. Сейчас тебя в колхоз загонят, сделают председателем колхоза, бригадиром». Он махал руками, отнекивался, но ничего, потом, когда пришло время загонять в колхоз, он пошел, а жена его не пошла, и Марис не пошла.

Н. Ф.: И они остались жить на хуторе, а он был колхозником при этом.

Н. Л.: Все равно хутор остался, это уж нас не было.

Н. Ф.: То есть вы с ними потом какие-то отношения поддерживали, знали о них?

Н. Л.: Сколько-то, очень недолго. До 48-го года. В 48-м году у них вывезли, как у нас вывозили, племянницу, а их не тронули, потому что он в колхоз вступил и числился середняком. А их вывезли, но не так позверски. Все-таки и собраться дали, и какие-то вещи дали с собой взять.

Н. Ф.: Племянницу, которая на хуторе жила у них?

Н. Л.: Нет, на своем хуторе она жила. Я не знаю, как там с ее мужем, может, мужа забрали, не знаю. Это я уже от них слыхала. Сначала я работала у них в поле, а зимой мы с хозяином в лес ездили. У них у каждого хуторянина был свой кусок леса, и мы туда ездили с ним, на двух лошадях. Две лошади сохранились.

Н. Ф.: Ухаживал за лесом. Вы не сказали только, как их звали.

Н. Л.: Кляйнхофс.

Н. Ф.: Немецкая фамилия у них.

Н. Л.: Да. Малоземельный, малый двор. А почему он знал русский язык, и она знала — потому что поженились они в России, когда в Первую мировую войну бежали от немцев. И жили где-то в Полтаве, что ли. В Восточной Украине. И русские их там хорошо приняли.

Н. Ф.: И там они познакомились?

Н. Л.: Да-да-да. И там поженились. Так сказать, долг платежом красен, они так хорошо к нам и относились. Вечерами всю зиму я занималась. А в конце лета 1945 года, когда мы познакомились с ними, они в нас поверили, деваться было некуда. Они нам сказали, что у них есть еще один старший сын, он был в Латышском легионе, и он пришел и наверху живет, чтобы мы это знали, а больше никто и не знал. Носили ему еду туда, а потом он стал выходить, по ночам ходили гулять с ним, очень хорошо проводили время. А потом уже, когда я оттуда уехала, через какое-то время, они ему, как говорят, справили паспорт, и вышел он чистенький, беленький. А он до войны еще кончил сельскохозяйственную школу, не собирался уходить с хутора. И вот приехал он в Ригу, я уже в общежитии тогда жила в студенческом. И поступил работать садовником в городскую больницу. Так я и рассталась с ним, не знаю, что дальше было.

Переезд в Ригу

А весной 1946 года я поехала в Ригу. Хозяева дали нам адрес, чтобы я могла снять комнату, я уже не помню, платила я им или они просто меня пустили, где-то я там ночевала и готовилась усиленно сначала сдать экзамен на аттестат зрелости за два класса, за девятый-десятый, в школе рабочей молодежи, а потом поступить в университет. И тут встал вопрос, куда поступать, на какой факультет. На медицинский после опыта с брюшнотифозными я не хотела. На биологический, сами понимаете, в 1946 году было не очень сподручно. Я поступила на филологический факультет. Хотела, естественно, на романо-германский, поскольку язык знала хорошо — там только латышское отделение. Я сдрейфила. Я латышский знала базарный, да еще курляндский диалект, это совсем фэ. И поэтому не решилась. Поступила на славянское отделение.

Общежитие мне в первый год не дали. В школе рабочей молодежи завелось у меня знакомство, и мне моя однокашница, она со мной вместе и поступала потом, сосватала комнату, там же, где они жили. А они были явные то, что потом латыши называли — оккупанты: тетка ее была какая-то шибко партийная дама...

Н. Ф.: Приезжие...

Н. Л.: ...которую сюда откомандировали, и дали ей (все буржуазные кварталы были пустые) квартиру с мебелью, со всем на свете, и они из Сибири голодной вытащили эту Тамару Вашеко. И стала я учиться. Все. Давайте заканчивать.

Н. Ф.: Хорошо. Единственное, знаете, я еще хотел один вопрос. В «Архипелаге ГУЛАГ» есть такая фраза о вашем брате, Иване, что он сказал: «Раз хорошие люди сидят в тюрьме, то и я должен, раз папа сидит в тюрьме, то и я должен».

Н. Л.: Я уже не помню, кому я это говорила.

Н. Ф.: Наверное, Александру Исаевичу вы это сказали.

Н. Л.: Александру Исаевичу да, но при каком случае он это говорил, я...

Н. Ф.: Вы не помните, когда он это говорил?

Н. Л.: Да. Я теперь многого не помню.